

*Предотлётное сборище чаек,
Сонм листвы, улетающей в
дождь, —
Поспеши обозначить, прощаясь,
Ведь с собой ничего не возьмёшь.*

*Ведь и жизнь, может быть,
для того лишь
И дана, чтобы словом назвать
Эти сонмы взлетающих сборищ,
Эту Божию благодать...*

Евгений Курдаков

16 января 1976 года — дата, навсегда омрачённая смертью нашего отца Гусева Фёдора Леонтьевича. Он был отцом восьмерых детей и умер в семидесятилетнем возрасте от обширного инсульта. Управился папа в три дня, не беспокоив никого длительным обездвиженным состоянием. Наша мама не поверила врачам, когда ей сказали о безнадёжности его положения, даже

стала спорить, что insult слухается не единожды, и это ещё не конец земной жизни.

Смерть близких всегда застаёт нас врасплох, что и говорить о нас, его детях, о нашем подавленном, мягко говоря, состоянии. На похороны из Усть-Каменогорска отправились: Володя и Ольга Гусевы, и наша семья Курдаковых: я с мужем Евгением и младшей пятилетней дочерью Юлечкой. Володя ехал один, так как дома тяжело и непонятно болел двухлетний сын Серёжа, с ним осталась жена Тоня. Да и Оля ехала без мужа — Виктор остался в Усть-Каменогорске с сыном Димой. Для поминального обеда мы везли из Усть-Каменогорска в эмалированном ведре замороженное мясо.

Летели на самолёте до Куйбышева (ныне Самары), но в Челябинске случилась вынужденная посадка (Куйбышев не принимал из-за сильного снегопада), где мы потеряли 4 часа ожидания в аэропорту, а дальше, из Куйбышева — местным поездом (в простонародье — «барыгой») до Бузулука. Всю дорогу ехали молча, говорили только по необходимости, по существу. У каждого из нас был «свой» отец, свои отношения и своя память о нём.

Стояли сорокаградусные крепенские морозы, которые воспринимались привычными и естественными для этого времени года. За вагонными окнами мелькали затаившиеся в морозной

тишине заснеженные посёлки, заваленные по самые крыши пухлыми белоснежными сугробами, с прочищенными в них узкими тропами. Топились печи, и столбы белого дыма застывали в морозном поднебесье.

Приехали в Бузулук вечером. Город встретил нас ранними зимними, почти ночными сумерками. Редкие, тускло светящиеся фонари едва освещали улицы с узкими глубокими тропами-траншеями. Чёрное небо с яркими мигающими звёздами и блёклая, в рваных тучах, равнодушная луна. В тишине оглушительно скрипел снег под нашими шагами. С еле сдерживаемым волнением и мучительным душевным томлением подходили мы к родительскому дому. Издалека он, как маяк, непривычно светился всеми окнами, незакрытыми ставнями, ожидая нашего приезда.

Я — Екатерина Гусева (в замужестве Курдакова), старшая из дочерей и второй ребёнок в родительской семье. Мне 29 лет и я ровесница моему дому. Здесь я прожила свои первые 19 лет и эти стены знают и помнят меня, и я плачу дому искренней любовью, привязанностью и памятью.

Быть старшей сестрой — для этого надо родиться не только первой, в этом есть какое-то призвание, врождённая жертвенность. Надо любить своих братьев и сестёр больше себя. Это значит (в отсутствие родителей) сначала накормить их, а

самой потом, что останется. На первые заработанные деньги купить брату коньки на ботинках, о которых он и мечтать не смеет, к утреннику (без мамино разрешения) сшить розовое шёлковое платье, а вместо отсутствующей капроновой ленты накрахмалить бинт и завязать его в роскошный бант, отчего Лёля становилась похожей на Мальвину, и многое другое. И всё это естественно, без надрыва, не подозревая, что может быть по-другому.

Десять лет замужества меня очень изменили, я стала совсем другая — у меня сложились другие обязанности, мироощущение и восприятие жизни. Покинув родительский дом, я попала в совершенно другой, незнакомый и созидательный мир творчества, где человек живёт не хлебом единым, и я приняла этот мир, и он стал моей жизнью. В нашей семье родились две дочери, и для них теперь я живу, и они конечный смысл моей жизни. Но родительский дом, как поётся в песне: «начало начал», навсегда останется малой и милой родиной — родимым гнездом, из которого мы все разлетимся по белу свету.

— Блям-длям! — звучно отозвалась знакомая металлическая щеколда открываемой калитки, и дом принял нас. Чёрным меховым клубком, залиvisto лая, кинулся под ноги старенький Жучок. Через секунду, узнав нас, он повизгивает,

приветственно машет обрубок-хвостом, виляя всем туловищем, делает стойку на задних лапах и пританцовывает. А мне на миг показалось, что ничего не случилось, все живы и здоровы, просто я вернулась из школы домой со второй смены.

Мы очень боялись за маму, за её здоровье, как она перенесёт утрату мужа, с которым прожила всю жизнь. Маме было 56 лет. Мы застали её растерянной, суевающейся среди приехавших издалека детей, как бы не совсем понимающей происходящее. Понимание случившегося придёт к ней позже, когда все разведутся, и дом непривычно опустеет и вдруг обеззвучит.

Раньше нас приехали из Куйбышева старший брат Александр с женой Наташей и наши недавние молодожёны — Сергей и Ольга (у них вскоре, после смерти папы, родится сын Фёдор — Гусев Фёдор Сергеевич). Наташа приехала раньше всех и застала нашего отца живым. Она, как опытный врач, облегчила его физическое состояние, добившись от врачей больницы для безнадежного больного качественного медицинского обслуживания. Во время похорон она взяла в свои руки подготовку проведения поминального обеда. Строгая и собранная, обладающая организаторскими способностями, знающая русские православные традиции и обряды погребения, Наташа была незаменима в эти трагические

дни. Она организовала в день похорон приготовление поминального обеда, выделяя деньги на закупку продуктов и распределяя их помогающим соседям (в то время не было ритуальных залов и кафе для поминальных обедов). В нашем доме на печи в ведёрной кастрюле варился борщ и томился в духовке фруктовый компот.

На время описываемых событий из восьми детей Гусевых неопределённым в профессии и в жизни оставался наш младший пятнадцатилетний брат Юра. Папа последнее время, предчувствуя смерть, сокрушался, что не успеет дать ему образование и не будет опорой в начале его самостоятельной жизни. Люба к этому времени заканчивала учёбу в строительном техникуме, по-теперешнему — колледже, была правильная и строго воспитанная девушка, за неё было спокойно. Валя, самая младшая сестра, училась в педучилище г. Бузулука. За успешную учёбу, в зимние каникулы она была премирована бесплатной туристической путёвкой в Ленинград. Валя единственная из детей Гусевых отсутствовала на похоронах отца — найти её в Ленинграде в то время не было никакой возможности. Она приедет из Ленинграда в день погребения и, открыв калитку, всё поймёт в первые же секунды, и зайдётся в страшных криках.

С отцом у неё были свои сложившиеся добросердечные

отношения. Валя потакала папиной слабости — блинам. Папа же приписывал эту слабость ей, называя её Валькой-блинницей. Как бы там ни было, но по малейшей папиной просьбе: а не испечь ли нам блинцов? — Валя с удовольствием выполняла его желание.

Иногда во время просмотра фильма по телевизору, семнадцатилетняя Валя уютно громоздилась папе на колени, и он какое-то время этого не замечал. Но, неожиданно устав, «обнаружив» её, ворчал: Валя, ты такая взрослая и тяжёлая — садись в своё кресло! ...Таких мелочей было много.

Вот и перед той роковой поездкой она советовалась с отцом, ехать ли ей в Ленинград? — папе нездоровилось в те дни, но он категорично, не сомневаясь, ответил: езжай! До конца жизни Валя будет вспоминать эти скорбные дни и винить себя за поездку в Ленинград, не давшую ей проститься с отцом.

Попрощаться с усопшим пришли сослуживцы — заводчане, соседи и знакомые. Удивительно, но пришли попрощаться и отдать дань уважения нашему отцу учителя школы, где учились дети Гусевы.

Спустя два месяца после описываемых событий, в Усть-Каменогорске мы похоронили Серёженьку Гусева, сына Володи и Тони, умершего в два с половиной года от онкологии. Этот год поверг нас в долгое отчаянье

и скорбь. Мы впервые столкнулись с явлением смерти, и она потрясла нас своей трагической неизбежностью.

Судьба нашего отца, родившегося в 1905 году, напрямую связана с историей молодого Советского государства. Он появился на свет в крестьянской семье, в деревне (не знаю названия) Бузулукского уезда Самарской губернии. До революции папа закончил четыре класса церковно-приходской школы, какое-то время пастушествовал. Революция, гражданская война, голод, разруха, — всё вписалось в судьбу нашего отца. Каким-то образом ему посчастливилось отучиться два года на рабфаке в Куйбышеве. И, конечно же, лучшие годы жизни связаны с учёбой в государственном педагогическом и учительском институте им. В.В. Куйбышева (списано дословно со студенческого удостоверения отца). Ну а дальше — 37-й год, 58 статья — и 7 лет украденной жизни в Печорских лагерях. Там, в беспросветной и безнадёжной, казалось, жизни встретится ему девушка Горшкова Елизавета Фёдоровна, репрессированная за веру. Наша мама попала в лагерь в девятнадцатилетнем возрасте с тяжёлым и, казалось, безнадёжным заболеванием лёгких (с лёгочными кровотечениями в течение многих лет). Страшную болезнь излечат суровый полярный климат, лишения и безграничная вера во Всевышнего. И будут любовь, семья и позже, на воле, родятся восемь

детей, которых сохраняют, воспитывают и дадут им образование.

Песня старого вокзала

*Лето летит или годы над
бездной земной, —
Кто там, в толпе на вокзале,
такой молодой?*

*Кто там беззвучно рыдает,
хохочет, поёт,
Напоминает и мчится
сквозь жизнь напролёт?*

*Мчится сквозь время
указов, речей и вождей,
Нужд мимолётных,
казавшихся правды нужней.*

*Мчится сквозь старьё,
родной деревянный вокзал,
Щедро цедивший, что век
сквозь него пропускал.*

*Мутные годы плели свой
рисковый резон, —
С поездом сцеплен
стольтинский тёмный вагон.*

*Жизнь торопила, ломала,
вела на этап
Тех, кто сорвался и первый
в неправде ослаб.*

*Кто там бредёт под конвоем
под крики родни?
Воплем святым навсегда
оглушив свои дни.*

*Кто эту память навеки
узлом завязал?
Звякнут сцепленья и
тронется старый вокзал.*

*Стены качнутся с
портретами настороже,
Кто там, Хрущёв или
Брежнев уже?*

*Что там небрежно хрустит
на безбрежной земле,
Щетки летят или судьбы
в горючей смоле?*

*Кто там прощается
насмерть, такой молодой, —
С другом ли я или друг мой
навек со мной?..*

Е. Курдаков.

Стольпинский вагон доставит моих родителей из родных городов: папу из Куйбышева, а юную маму, кажется, из Артёмовска, выдернув из родительской семьи, сначала на Кольму, а затем этапом в Печорские лагеря, в полярную зону, на суровые испытания, чтобы общей нелёгкой судьбой соединить навеки.

Там, в лагерях, не пригодилась папина профессия педагога-историка. И он освоил новую техническую профессию инженера-нормировщика, так и проработав в этой должности до освобождения из лагеря, а позже, уже на воле, — до пенсии на машиностроительном заводе в Бузулуке. Да и какой может быть педагог с 58-й статьёй?!

В конце жизни папа в разговоре с моими младшими сёстрами откровенно говорил, что никогда не был расположен к сельской жизни, к работе на земле. Думаю, что наш папа был

из числа интеллигентов первого поколения молодого Советского государства. Мама в лагере работала бухгалтером.

Они были такие разные: истовая в вере мама, не скрывающая и после реабилитации (в годы борьбы с религией) своей духовной связи с церковью, певунья, открытая душа. Она и годы молодости, проведённые в лагерях, не считала загубленными. Говорила, что в лагерях было много прекрасных людей, от которых многому научилась. Рассказывала нам о снежном бескрайнем, искрящемся морозном безмолвии, о цветных радужных всполохах северного сияния, о кратковременном полярном лете с незаходящим солнцем и расцветающими в этот период на краткий срок анемичными жёлтыми маками. О цветных мхах и лишайниках, о полянах белых грибов, о строганине из рыбы и оленины. И всё-то в её рассказах было красиво и романтично, а о невероятных трудностях и нечеловеческих страданиях в условиях полярной зоны мама даже не упоминала.

Когда в голодные перестроечные девяностые годы бывшим репрессированным узникам лагерей стали выдавать продовольственные талоны, мама засомневалась, воспользоваться ли ей такими благами. Пострадавшей она себя не считала, так как ей выпала редкая участь — пострадать за веру, за Бога.

Отец был атеистом, нет, не борющимся с церковью — просто

не верующим в Бога. На протяжении всей их совместной жизни мама пыталась привести отца в веру. Она цитировала слова из Священного писания, и отец тут же находил нестыковки в Библии, отчего мама замолкала. Отец не хуже мамы знал священный текст. Он был старше мамы на тринадцать лет.

Я родилась, когда отцу было уже сорок два года, и поэтому не помню отца молодым. Внешне он мне напоминал актёра и режиссёра Сергея Бондарчука. Крепко сложенный, среднего роста, с рано поседевшими серебряными волнистыми волосами. На ранних студенческих фотографиях (а других и нет) — модно одетый, по тому времени, молодой человек, брюнет с высоким лбом, с несколько одутловатым лицом, выпуклыми чёрными глазами, красиво очерченными полными губами. Шляпка кудрявых чёрных волос слегка освободила лоб, предполагая в будущем место залысинам.

— Пап, а чего это ты на фотографиях, вроде бы, толстый? — с издёвкой спрашивали мы, рассматривая семейный альбом.

— Справный был, — помедлив, отвечал отец, и мы довольно переглядывались между собой.

У отца была хорошая стать: всегда прямой, без признаков сутулости, красивой формы голова слегка откинута назад, придавая всему облику благородную значительность. Таким он и был и в жизни. Всегда носил и умел носить костюмы, правда, галстуки были только в студенческие годы.

Я не помню отца суетливым, бегущим, спешащим или опаздывающим куда-либо. Всё у него было спланировано, рассчитано во времени и расстоянии. Какое для меня было удовольствие и гордость идти утром с ним в школу, не торопясь, разговаривая по дороге. Рука надёжно и тепло помещалась в его большой ладони. Ежедневный утренний заводской гудок заставлял нас в точно определённом месте, давая понять, что мы не опаздываем: он — на работу, а я — в школу.



Молодая семья Гусевых. 50-е годы.

Отец был закрытым человеком, много о чём мы не узнали, не спросили его по своей молодой недалёкости. Не спросили, а он не рассказал. А теперь вот гадаем, чем он занимался в такие-то годы? А времена были интересные. Один НЭП чего стоит! Отец в эти годы, в Куйбышеве, будучи рабфаковцем и студентом института, отлавливал на рынках и в поездах беспризорников и передавал их в детские дома и коммуны.

Вспоминается рассказ папы, как он однажды вечером, возвращаясь после учёбы в институте в общежитие, проходил мимо роскошного ресторана, где отмечалось какое-то событие. Была весна, из открытых окон и дверей заведения доносились задорные звуки джаза и умопомрачительные запахи. Пирующие нэпманы (прекрасно одетые мужчины в дорогих костюмах, в смокингах с бабочками и в лакированных штиблетах) громко разговаривали и курили сигары на воздухе возле открытых дверей. Недолго думая, папа зашёл в зал. На возвышении играл модный тогда джаз. Несколько пар самозабвенно танцевали. Папа уселся за свободный столик, подвернул салфетку под воротник... и поужинал. Таких яств ему в жизни попробовать больше не пришлось.

Фёдор Леонтьевич по большей части запомнился спокойным, сдержанным и внешне мало эмоциональным человеком.

Плавная, правильная литературная речь образованного, от природы тактичного человека. Никогда никого не обидел грубым словом. Не разобравшись до конца и не уяснив для себя суть дела, не брался за решение спора или проблемы. Он и с нами, детьми, был строг, но справедлив. Это мама, порой не разобравшись до конца в наших детских ссорах, могла наказать и так уже пострадавшего.

После смерти И.В. Сталина, уже к 1956 году, отец и мама были реабилитированы. Они получили денежную компенсацию (за семь лет лагерей), на которую купили стиральную машину «Сибирь» и справили (сшили на заказ) маме пальто.

Со смертью Сталина началось массовое освобождение заключённых. Так однажды в нашем доме появилась некая Юлия Сергеевна. Худая, высокая, сторбленная старая женщина, в проволочных круглых очках, сцепленных залоснившейся резинкой, в чёрном одеянии, с палкой в руке.

Оттого, что она много молчала, а нас, детей, не замечала, глядя как бы сквозь, как будто бы нас и нет, её присутствие в доме было тяжёлым. Она не обласкала нас тёплым взглядом, не сказала ласкового слова. Она была как бы выгоревшая изнутри, пуста и мертва, и мы, дети, это чувствовали и боялись её. Да и говорила она хриплым шёпотом. А позже выяснилось, что поёт псалмы

Юлия Сергеевна тоже шёпотом. Вернее, поёт мама, а Юлия Сергеевна шепотком ей вторит. Много времени они проводили за молитвами. В эти тяжёлые времена, когда хлеба не ели досыта, когда лишний голодный рот накормить было проблемой, Юлия Сергеевна прожила у нас достаточно долго и исчезла так же внезапно, как и появилась.

Мама рассказала нам, что Юлия Сергеевна — героическая женщина. Там, в лагерях на Печоре, смертельно заболел её муж. У него на шее образовалась гнойная флегмона и врачи отказались её вскрывать. Так вот, Юлия Сергеевна, обработав огнём опасную бритву, вскрыла сама страшный нарыв. Но мужа спасти не удалось, чуда не произошло.

В послевоенные голодные годы в городе много было нищих, которые ходили от двора ко двору. Ходили семьями: с детьми на руках и малыми, держащимися за юбки матерей. Люди просили хлеб, а от денег (были случаи) отказывались, ведь на них без карточек хлеба не купишь. Одетые в немыслимое тряпье, случалось, в галошах, привязанных тряпицами к ногам, с котомками за плечами в виде мешков с завязками за уголки и стянутым отверстием — так примерно выглядели многие из них. Самой часто повторяющейся легендой-рассказом, заставившей их побираться — пожар, спаливший дом, а то и всю деревню. Мама

всегда выносила ломоть хлеба, бывало, и последний.

Самыми страшными нищими того времени были безногие инвалиды войны. Их появление сопровождалось громоханием низких тележек-подставок на шарикоподшипниковых колёсиках по ухабам улицы. Таких мужчин было много, и зачастую они были пьяны и агрессивны, даже к детям. На них нельзя было пристально смотреть — это вызывало страшный гнев и матерную брань, а то и камень мог полететь вслед. Я с мамой быстро проходила мимо, бросив монетку в шапку нищего. Их ежедневные денежные сборы шли в основном на алкоголь.

Видела я и китайцев, неизвестно как очутившихся в нашем городе со своим редким для того времени товаром — китайским шёлком. Как и предлагаемый товар, сам продавец выглядел экзотично: чёрная косичка на затылке приковывала детское внимание на всё время торга. Небольшого размера лёгкий и яркий отрез шёлка жар-птицей взлетал и вспыхивал в его руках, вызывая ответный жаркий блеск в глазах у покупательницы. Устоять женщине было музительно трудно.

Отец помогал вернувшимся из лагерей репрессированным людям в реабилитации. Будучи юридически грамотным, он знал последовательность подачи документов в разные инстанции и всегда добивался положительных

результатов. Лагерное братство не на словах, а в делах, в пожизненной переписке наблюдалось нами, детьми. До конца жизни папа переписывался с Вольфовым Борисом Владимировичем, красивым человеком, бывшим лётчиком. На семейной фотографии (уже после реабилитации), хорошо одетые, успешные на вид люди, с маленькой девочкой в матросском платьице. Я подолгу рассматривала эту фотографию, представляя себя девочкой с бантом и в таком платье. Похоже, мы были ровесницами. Семья Бориса Владимировича, кажется, жила в Краснодаре, сам он работал директором какого-то завода. В одном из писем Борис Владимирович уговаривал папу переехать в Краснодар, обещая свою помощь. Но папа не решился, посчитал, что поздно столь кардинально менять жизнь нашей семьи.

В моём детстве папа был мне ближе, чем мама. Мамины руки и колени были вечно заняты младенцами. Дети, в среднем, рождались с периодичностью в два года, вечный мамин недосып делал её нервной, вечно она кого-то баюкала и тетёшкала, пела кому-то колыбельные песни. А ведь ещё и работала с 1958 года, от декрета до декрета, тут уже без помощи нас, детей, не обходилось. Няньчить приходилось всем.

Так вот, будучи маленькой, я весь день дожидалась прихода папы с работы, прислушивалась к стуку калитки, чтобы кинуться

и прижаться, ощутить такое необходимое родительское тепло, без которого невозможно вырасти самой, а в будущем вырастить и своих детей. Я старалась поскорее забраться на весь вечер на колени, заполучить его насовсем, прижаться к его тёплой и надёжной груди, ощутить его заботу и ласку.

Всё моё детство прошло рядом со старшим братиком Шуриком, он был старше меня на один год и девять месяцев. Светленький, сероглазый, с кудрявыми волосами (мне кажется, любимец мамы), он был спокойным, ласковым ребёнком. Меня никогда не обижал. Это потом, уже где-то к пятнадцати годам, с моей подачи, он станет Сашей. В пять лет он научился читать, после чего чтение было его основным и любимым занятием. Я была его послушным и надоедливым хвостиком. Он мог заплакать от обиды на меня, но терпел и не было случая, чтобы ударил.

Однажды зимой, в мороз, я увязалась с ним в библиотеку, где он взял несколько книг с яркими картинками. Шурик вёз меня на санках. На обратном пути я вызвалась держать библиотечные книги в руках. Мне очень нравился типографский запах книг, предвкушение предстоящего чтения и рассматривания ярких картинок, и само катание на санках. Приехав домой, обнаружили, что книги потерялись, выпали из моих замёрзших рук по дороге. До сих пор

помню, как Шурик горько плакал. А книги кто-то подобрал и сдал в библиотеку.

Часто я бывала на его классных мероприятиях в школе: на концертах самодеятельности, на новогодней ёлке, на весенних маёвках за городом в конце учебного года. Ходила я с классом и в кинотеатр «Победа» на утренние воскресные сеансы. Это было большим событием для меня. С вечера приготавливалось выходное нарядное платье, лента в волосы. И почему-то, не единожды, рубль давали только на один билет — на Шурика.

— А тебе 5 лет — говорили мне родители, — билет не нужен, ты ещё маленькая. И когда мы с Шуриком доходили до строгого контролёра, моя заячья душа предательски опускалась ближе к пяткам — нас, конечно же, не пускали. Уже все дети с шумом рассаживались в зале, старались занять самый лучший в детском понимании первый ряд, мы с тоской понимали бедственность нашего положения. Шурик плакал. Я чувствовала себя виновницей его слёз и, тупо опустив голову, держала палец во рту. Надежда Ивановна, учительница, была в безвыходном положении: нас нельзя было просто так отправить домой, как и нельзя детей в зале оставить одних. Она шла в кассу и на свои деньги брала билет на меня. Шурик, уже в зале, ещё долго не мог успокоиться, всхлипывал, вытирал ладонью

слёзы. Я молчала, жалея его, и мучилась угрызениями совести.

Нас, послевоенных детей, ослабленных от недоедания, государство помогало поднять, оказывая родителям некоторую помощь. Так, в аптеках по рецепту бесплатно выдавали рыбий жир. Но очень большой проблемой было заставить ребенка выпить эту полезную и столь необходимую для здоровья «гадость».

Заметив, что мама достаёт пузырёк из шкафа, я моментально скрывалась под кроватью, откуда наблюдала за происходящим. Шурик послушно, медленными шагами приближался к маме, держащей в одной руке ложку с рыбьим жиром, в другой — ломтик солёного огурца.

— Вот, смотри, Шурик — смелый, ничего не боится! Раз — и нет рыбьего жира!

Из-под кровати я вижу, как Шурик проглатывает эту мерзость, хрустит огурцом, как моргает и слёзы выступают у него на глазах. Рвотный спазм заставляет его судорожно сглатывать, прикрывая рот ладонью. Увиденное заставляет меня затаиться и плотнее прижаться к стене в моём убежище.

После долгих уговоров, что если я не буду пить рыбий жир, то могу даже умереть, замечаю, что у самой мамы от такой перспективы выступают слёзы. Жалея её, я выпиваю свою порцию испытания рыбьим жиром.

И так каждый день.

Зима в моём детстве приходила всегда неожиданно, внезапно. Утром просыпаешься, а за окном светло: чёрная, неопрятная, с глубокими замёрзшими колеями земля покрыта белоснежным покрывалом, а с неба летят к земле, кружатся, не торопясь, крупные белые снежинки. Иногда, к нашему огорчению, первый снег таял. Но зима брала своё, наступали долгие морозы и тогда много времени мы проводили дома. Любимым и запретным занятием было сделать глазок в замёрзшем, покрытом дивными узорами окне, чтобы наблюдать за происходящем во дворе. Для этого нагревали на печке монетку и прикладывали к стеклу. Оттаявший круглый глазок позволял увидеть засыпанный снегом двор, уменьшившийся в размерах, заиндевелого, но не утратившего собачьей бодрости лохматого чёрно-белого Дружка, запорошенные деревья. Огромный оранжевый диск солнца неведомым космическим плодом медленно протискивался между соседними домами и занимал своё место на сером тусклом небосклоне. Случалось, завывающая белая вьюга страшной злой силой срывала наше замёрзшее, стоящее белым парусом бельё и вместе с верёвкой забрасывала его на крышу соседского сарая.

Но приходила весна — дивный, долгожданный апрель с длинными, погожими днями. Детей домой не загонишь. Ощущение чего-то необыкновенного,

чего ещё не было в жизни и вот-вот должно совершиться. И непременно именно этой весной! И огромный семейный клён в нашем дворе тоже радостно возбуждён: вон как распустил бордовую бахрому своих лопнувших почек и какой тонкий аромат исходит от них. Почему клён семейный? Потому что он свидетель многих лет жизни нашей семьи. На нём висели качели, и он знал и помнил все наши детские разговоры и забавы. На клёне спасались от нас, кошачьих мучителей, многочисленные бедолаги-коты. С него в девятилетнем возрасте, пуская тряпичные парашютики, я упала камнем, сильно поранив в локтевой части руку. Под ним летними вечерами, допоздна, под повешенной на сучке голой лампочкой, ужинала наша семья. Частенько я засыпала за столом, и меня на руках папа относил в постель.

Под этим клёном, играя, я закопала в землю — сделала свой секретик, похоронила на время, а получилось навсегда, любимую игрушку. Это был клоун, мягкая миниатюрная игрушка величиной с мою ладошку. Игрушка была ценная по тому времени, как произведение искусства. У клоуна было фарфоровое с нежной росписью личико, одет он был в шёлковый традиционный двухцветный шёлковый клоунский костюм — зелёный с белым. На голове зелёный колпачок. Похоронила я его в серебряной табакерке, с замысловато-гравированной

откидной крышкой. Табакерка и клоун не предназначались для игры детям и хранились с другими ценными вещами в сундуке под замком. Когда мама по какой-либо надобности открывала сундук, то давала мне подержать в руках эти вещи, после чего убирала обратно. И вот однажды она на время оставила сундук открытым и я, воспользовавшись её оплошностью, забрала поиграть любимые игрушки. Табакерку я прихватила, чтобы беречь от загрязнения нарядного клоуна.

Я долго горестно искала своё захоронение, не смея ни с кем поделиться своим горем, но так и не нашла. Маме я не призналась в содеянном, а та в житейской суете не заметила пропажи. Но я до сих пор помню эти чудесные вещи и думаю, что, возможно, при каких-то работах во дворе кем-то они найдутся в сохранности, ведь серебро не ржавеет, а покрывается благородной патиной, как и, наверное, детская память.

Никто и ничто не скрывает радостного предвкушения наступающего тепла, скорого лета, и каких-то ещё предстоящих радостных событий. Уже выставлены зимние рамы и убраны в сарай до осени. И в комнатах появился свежий запах весны и какой-то новизны, и в открытых створках окон бьются сквозняком лёгкие занавески. И колокольный звон Всехсвятского храма торжественным благовестом тоже напоминает о весне, о

скорой светлой Пасхе, о бесконечной жизни.

Только весной на полянке перед домами, после работы дотемна, в эти длинные дни молодые женатые мужики и парни играли в футбол. Для удобства штанины закатывали до колен, а кепки поворачивали козырьками назад. Ворота обозначались снятыми башмаками игроков. Зрители, в основном ребята, следили за игрой, отмечая острые моменты свистом и криками поддержки.

С восторгом наблюдали мы, как парни запускали воздушно-го змея. Его приносили на полянку уже готового, склеенного крест-накрест из тонких деревянных планок, обтянутых папиросной бумагой. Змей украшался длинным хвостом из пучка ярких нарванных из старой ткани бечёвок. Запускали вдвоём: один разбегаясь, забрасывал его по ветру в восходящие потоки воздуха, второй — разматывал клубок толстых суровых ниток. Выпущенный на волю змей вдруг оживал, дёргался, рывками набирал высоту, нырял в бескрайний океан голубого неба, и хвост его распускался веером. Когда клубок сдерживающей нити окончательно разматывался, змея отпускали в свободный полёт, и он скоро превращался в точку и окончательно исчезал из вида. Толпа довольной ребятни сопровождала парней радостными восторженными криками. На крылечках сидели, лузгали семечки и с удовольствием

наблюдали за происходящим от- дыхающие всезнающие старики.

Вечером, лёжа в постели, я долго не могла уснуть, вспоми- ная чудесные события прожи- того дня, представляя долгую и яркую, полную приключений жизнь бумажного змея.

Запускались змеи в основном весной, и чаще заканчивали они свою жизнь в жалком одиноче- стве, запутавшись в электриче- ских проводах или в ветвях вы- соких деревьев.

Взрослые и дети истоскова- лись по весне, устали от зим- ней духоты, тесноты и сутолоки дома. Устали от самого дома, от зимнего быта: от топки печи — дров, угля, золы.

Все во дворе, потому что со- бытие: прилетели скворцы. Чёр- ные, с зелёным и фиолетовым отливом на пёрышках, они так же, как и мы, рады встрече — они прилетели домой. Прилетели ранним утром, известив о своём прибытии заморским пением, ка- кому они научились в дальних краях на зимовке и пока ещё не забыли. Скворец тянет головку, и на шейке топорчатся пёрыш- ки. И праздничными трелями с бульканьем и переливами огла- шается наш двор. И мы счаст- ливы, что они не заблудились в дальней дороге, и не пали от бескормицы, не забыли нас и на- шли наше подворье, прилетели, известив о начале весны. В пере- рывах между пением идёт чист- ка скворечника от гнёзд зимо- вавших дотоле в нём воробьёв.

Скворцы по очереди ныряют в круглое отверстие скворечника и выбрасывают сухие травинки, и те, медленно вращаясь, летят к земле. Чтобы ускорить птицам эту работу, отец снимает и разби- рает птичий домик. Мы держим в руках и рассматриваем по оче- реди воробьиное гнездо, свитое из травинок и мелких тонких ве- точек, утеплённое серыми воро- бьиными пёрышками. Скворцы терпеливо ждут возврата на клён своего дома. И вот уже дом принят жильцами, и птички трели о новой весне, о радости, о солнце, о непрекращающейся жизни, о счастье жить на земле — радуют нас, людей, больших и маленьких. И я вижу, как папа, сдвинув фуражку на за- тылок, задрав голову, радостно улыбается. Какое у него детское счастливое лицо и какой же он ещё молодой!

*Весь день, весь апрель, всю
весну пронолёт
Скворец над окном свою
песню поёт.*

*О солнце, о ветре, о вешней
земле,
О голых деревьях и первом
тепле...*

Евгений Курдаков

Летом наша молодая мама частенько вывозила нас с Шу- риком на прогулки. Наряжа- ла в белое: на мне белое пла- тье с вышитыми ею фиалками понизу, на Шурике — белая

рубашечка-косоворотка, украшенная вышивкой по воротнику и разрезу-застёжке. Сама мама тоже одевалась нарядно: в белую панаму с широкими полями, обувалась в белые парусиновые туфли с синей резиновой каёмочкой по подошве. Туфли мама отбеливала зубным порошком. Везила она нас на велосипеде: я на раме спереди, а Шурик — на багажнике. Велосипед мама вела в руках. Мы ехали отдыхать на пруд, находящийся за городским кладбищем. Везла она нас по узенькой тропинке, петляющей среди могил. Цветущее разнотравье с преобладанием фиолетового шалфея и соцветий белой кашки сопровождало нас до места отдыха. Порхающие меж крестов бабочки, гудящие пчёлы, стрекочущие кузнечики, пение птиц не нарушали мирное безмолвие погоста. Мама, как всегда, что-то рассказывала, она не была молчуньей. У пруда расстилала одеяло, выкладывала какую-то еду, игрушки. Пруд по берегу кое-где зарос камышом, а в середине затянут зелёной ряской и тиной, в которой скрываются крупные зелёные лягушки. Они выдают своё присутствие безудержным кваканьем и выпученными глазами, выступающими над водой. Конечно, в них мы бросали камни и, конечно же, не попадали. Большое удовольствие доставляли расходящиеся круги по воде. Метались над водой стрекозы с прозрачными зелёными крыльшками, а по водной

поверхности пруда бегали жуки на длинных согнутых ножках. Справа высилась красная кирпичная громада Чемодуровской мельницы — великолепный образец дореволюционной постройки. Мельница была пустынна и заброшена и оттого казалась таинственным замком с привидениями.

Помню Шурика, читающего книжку на сундуке, на четвереньках, подпирающего голову кулачками. Он тоненько смеётся, я с любопытством пристаю: «Ну, что там? Ну прочитай мне!»

А вот, спустя время, другим вечером под настольной лампой, он с папой играет в шахматы и говорит что-то о политике. Он уже взрослый парень, темноволосяй, курчавый, с приятным чистым юношеским лицом, он — Саша. Где-то в уголке шушукуются, потихоньку смеются играющие в куклы младшие сёстры — Люба и Валя, мама на кухне гремит посудой. Включен приёмник, журчит музыка.

Наш Саша был вечным отличником и в учёбе в школе, и в строительном институте в Куйбышеве. За отличную учёбу ежегодно награждался почётными грамотами. Уже будучи взрослым, всегда работал на высоких должностях.

А вообще росла я в окружении братьев и их друзей. После меня родились подряд ещё два брата — Володя и Сергей. Мне пришлось играть в мальчишечьи игры и принимать правила

поведения их компании: не ныть, не ябедничать и вообще быть «своим парнем». Девочки на нашей улице появились позже и только через семь лет, в 1954 году родилась моя первая сестра Оля — семейное имя Лёля. В моей длинной взрослой жизни она будет верным другом, умеющим выслушать, утешить и дать вовремя нужный совет.

Отец был мастеровит, как говорят «на все руки», но не от скуки (это время, вообще, характерно умельцами — магазины ещё были пусты и много чего изготавливалось в домашних условиях). А с такой-то оравой детей всему научишься, при желании. Вот и дом они с мамой построили сами. И мебель сделана отцовыми руками. Я помню, как, задумав сделать комод, папа сначала сделал чертёж, согласовав его предварительно с мамой. Комод был красив уже на рисунке.

С тремя большими выдвижными ящиками в нижней части и двумя небольшими ящичками для мелочи — в верхней. Все ящики были украшены выпуклыми золотистыми ручками в виде декоративных раковин, придававших особую нарядность комоду. Гладкий, прозрачный масляный лак дополнял великолепие папиного изделия.

Папа умел ремонтировать нашу обувь, подбивать подошвы и истёршиеся набойки на моих каблучках. Зимой подшивал протёртые валенки, подготовив предварительно драгву:

для чего растягивал через всю комнату нитки в несколько слоёв и натирал их чёрным варом для прочности и от гниения. Всё это было очень интересно, и мы крутились под руками и путались под ногами.

Наш отец всегда находил время для чтения. В основном перед сном в кровати, под настенной лампой, светившейся допоздна. Позже, уже взрослой, работая на заводе, я видела читающего отца в обеденный перерыв за столом в кабинете. Даже смертельно заболев — читал. В кармане папиного серого больничного халата позже нашли книгу с библиотечным штампом.

К чтению незаметно были приобщены и все дети. Все мы были записаны в библиотеку им. Гайдара и пользовались её книжным фондом. Библиотекарша, простоватого вида женщина, немолодая, с гладко стянутыми в пучок волосами, в синем халате, строгая с детьми. Она непросто выдавала книги, но ещё имела привычку проверять, прочитали ли книги, задавая вопросы по содержанию. Так, однажды она заставила меня написать письмо автору о том, чем мне понравилась его книга. Уж не знаю, отправили ли его в издательство, но я честно корпела и написала отзыв о книге.

В нашем раннем детстве ещё не было телевидения, а когда оно появилось, пользователями его мы стали далеко не первыми. Телевизор в то время многим заменял радиоприёмник.

У нас был трофейный «Филиппс» — прямоугольный, с блестящим металлическим жёлтым кольцом в центре. День в нашей семье начинался с включения тихой музыки, с утренних новостей в 6 часов 45 минут. В утренней полутьме светила прямоугольная шкала настройки, а в уголке — её живой зелёный глазок. Немного полежав, настроившись на рабочий день, поднимались: кто — в школу, кто — на работу. Любимой семейной передачей была вечерняя программа «Театр у микрофона». Постановки пьес были настолько профессиональны, настолько чиста была звукопередача, что внимательный слушатель как бы зрительно, наяву воспринимал передаваемые действия. Звуки шагов, скрип открываемой двери, шум ветра, даже дыхание актёров воссоздавали яркие картины спектакля. Запомнился радиоспектакль «Очарованный странник» по Лескову. Затаив дыхание, взрослые и дети вслушивались, переживая так, что запомнился спектакль на годы. Позже я нашла книгу и, прочитав, была несказанно удивлена точностью передачи авторского сюжета и эмоциональным воздействием на слушателя, произведёнными талантливыми невидимыми режиссёрами, звукорежиссёрами и актёрами.

Отец, как ни странно, был светским человеком. Это было видно по его поведению в обществе, на работе с коллегами.

Работая на заводе, я замечала, какие ему нравятся женщины в его отделе, и его выбор мне нравился. Я замечала его мужское внимание и ответное женское, едва заметное, а также их внимание и наблюдение за мной, его дочерью. До сих пор помню его, идущего по аллее заводского двора, рядом Асташёва Мария Владимировна, худенькая, изящная, с красивым и породистым лицом, с седыми волосами. Возможно, они идут в какой-то цех по каким-либо служебным делам, а может быть — на обед, в столовую. Головы повернуты лицом друг к другу, они затаённо улыбаются, о чём-то говорят. Мария Владимировна — папина коллега, незамужняя и никогда не имела семьи. Война многих женщин оставила одинокими. Их отношения, мне кажется, были невинны, так, что-то витало в воздухе, радовало новизной в этой бесконечно серой и трудной жизни.

Знала ли мама? Она нервничала и высказывала обиды, когда папа задерживался на заводских предпраздничных вечерах. В своё оправдание папа говорил, что приглашал её на вечер, но она отказалась. Здесь он лукавил, потому что точно знал: мама в силу религиозных убеждений не примет его предложение.

В школьные годы домашние уроки я делала исключительно с отцом. В те годы большое значение придавали не только грамотности, но и почерку, вырабатывали

навыки каллиграфического письма. Тонким стальным пёрышком, обмакивая в чернильницу, чуть дыша, выводишь буквы и слова. А рядом, тоже чуть дыша, отец диктует: «Нажим — волосная». Каллиграфия письма заключалась в написании буквы с одновременным утолщением её какой-то части и тонким волосообразным — в другой. Буква от такого написания казалась объёмной и красивой. Писание чернилами вообще достаточно проблематично: можно написать красиво, без ошибок, но на последней букве могла предательски скатиться с пёрышка клякса — и всё, слёзы и рыдания обеспечены.

Память сохранила любимый урок чистописания: 1955 год, зима, первая смена. За большими казёнными, в морозных узорах, школьными окнами встаёт огромное оранжевое солнце. И его холодные лучи создают невиданный по красоте золотой парчовый узор на замёрзших окнах. Они вспыхивают огоньками, разбрызгиваются искрами, отвлекают внимание от диктующего спокойного голоса нашей старенькой Евстолии Васильевны Васильчиковой. Просматривая старые школьные фотографии, убеждаюсь — действительно, в преклонном возрасте, но до чего же она красивая! Одухотворённое лицо с правильными чертами: высокий лоб, большие серые глаза, редкие седые волосы гладко зачёсаны в пробор, заплетены

в две тонкие коски и уложены «корзиночкой». Высокая, с лёгкой сутулиной, очень худенькая. Прозрачная кожа на лице с ранними морщинками. Одежда была Евстолия Васильевна скромно: тёмное платье с белым съёмным воротничком, на плечах серая шаль.

В классе холодно. Первые уроки сидим в пальто, бывает, даже чернила иногда замерзают в чернильницах. Обогревается школа круглыми печками-голландками, обложенными чёрной крашеной жестью. В каждом классе такая печка. Большая часть её, по диаметру, находится в классе и небольшой участок с дверцей — в коридоре. Через эту дверцу школьный истопник топит печку и выгребаёт золу. Мы уже слышали его тяжёлые шаги. Вот грохнулись о пол мёрзлые дрова, звякнула печная дверца, значит, через час будет тепло и мы снимем пальто и будет урок чистописания. Урок красивого письма, покоя, когда не спрашивают заданный урок и надо только красиво, не спеша писать буквы.

В начале 50-х годов в частные дома города начали проводить электричество. Напротив нашего дома, на улице, вкопали в землю большой деревянный, плохо ошкуренный столб, по которому на самую верхушку забрался электромонтёр с сумкой, набитой инструментами. Косолапо ставя ноги на земле, по-обезьяньи забрался он на

столб достаточно ловко и быстро, с помощью «когтей». Это такие металлические приспособления в виде полудуг, с заострёнными концами, которые ремешками крепятся на обувь. С верхушки столба через белые фаянсовые изоляторы протянули провода на конёк нашей крыши, а оттуда уже — в дом. Так в нашем доме появилось электрическое освещение. Первое время электричество давали на несколько вечерних часов, помнится, с 18 до 24-х часов. За это время старались выучить уроки, погладить бельё и сделать все неотложные дела. Перед отключением свет предудительно мигал.

Гуляя зимой, мы, прижавшись ухом к столбу, слушали, как гудят провода и у нас возникали мечты о чём-то далёком, где нам предстоит ещё побывать.

Но ещё часты были случаи поломок в сети — гас свет и тогда жили со старым освещением. Керосиновые лампы далеко не убрали, они были всегда наготове. Милые надёжные спутницы, с подкопчённым стеклом, а иногда и с трещинками, они живы до сих пор, ими пользуются на дачах, а некоторые доживают свой век в чуланах и на чердаках старых домов. Их не выбрасывают, а вдруг ещё понадобятся?

Они создавали свой неповторимый уют, очерчивая золотой круг на столе, отсекая тёмные углы комнаты. Освещённые родные лица за обеденным столом, за тёплой семейной беседой, за

чтением книг, за вязанием или вышиванием, за прочтением писем — зачастую и с фронта, а то и похоронок... Наверное, в свете керосиновой лампы происходит навечно запечатление любимых лиц. У меня, во всяком случае, это так.

Иногда керосиновая лампа начинала чадить: ровно колеблющееся пламя из полукруга вдруг бесформенно вытягивалось, дёргалось и пыталось как бы оторваться от фитиля. Стеклоянная колба тогда моментально покрывалась чёрной копотью. Это означало, что кромка фитиля подгорела и её надо подровнять ножницами.

Они многое видели и помнят, наши керосиновые лампы — жаль, что не могут рассказать. Присутствие лампы в доме выдавал специфический запах керосина. Этот запах в доме был привычным запахом жизни, обустроенного человеческого жилья (в 50-е годы). Керосином заправляли примусы, керосинки и керогазы, на которых готовили пищу, в основном летом. Зимой готовили на печке.

Самым весёлым из перечисленных предметов был примус. Небольшой по размеру, из жёлтого металла, как мальчишка — со своим собственным характером, норовом, он требовал к себе особого обхождения. Не каждый мог разжечь примус. Сначала выдвижным стержнем-поршнем его надо было сноровисто накачать, то есть закачать внутрь

воздух. В резервуаре пары керосина и воздуха смешиваются и из небольшого отверстия (при зажигании спички) вырвется наружу и весело загорится синее пламя над маленькой чёрной горелкой. И примус обнадёживающе зашумит, заворчит, и можно ставить на огонь посуду. Но не всегда получается так быстро его зажечь. Иногда примус «чихает» и не хочет загораться. Тогда специальной загнутой иглой прочищают отверстие, и примус оживает. За примусом требовался присмотр — он мог погаснуть в любой момент.

В нашем доме была круглая «спокойная тётка-керосинка» с квадратным окошечком на боку. Три её фитиля гарантированно зажигались при помощи спичек и горели ровным жёлтым пламенем.

Керосин для населения привозили в специальной металлической бочке, на лошади. Приезд керосинщика узнавали по звукам дудки. Бежали босоногие мальчишки по дворам, вырывая друг у друга железную воющую трубку и дудели что есть мочи. Скоро собиралась очередь — люди с ржавыми и помятыми бидонами, и керосинщик отмерял литровым черпаком столь необходимое для обывденной жизни горячее.

Проезд старьёвщика по улицам вызывал среди детей неслыханный ажиотаж. Он тоже приезжал на лошади, и у него была дудка со «своим» голосом. Телега старьёвщика узнавалась издали, по внешнему виду: на лошадиной дуге болтались надутые цветные шарик, а сама телега

была завалена узлами и тюками с тряпьем. В ногах у старьёвщика стоял заветный синий сундучок с обменным товаром. Чаще всего, старьёвщик был татарин и дурил он всех безбожно на весах-коромыслах. Старьёвщик был менялой (деньги не брал) — обменивал переводные картинки, цветные надутые



Я с папой. 1964 год

шарики-пищалки, глиняные свистульки, прищепки, анилиновые красители для тканей и другую какую-то нужную хозяйственную мелочь на тряпье и кости. Больше всего нас, детей, занимали яркие бумажные переводные картинки. Их нужно было хорошо замочить в блюде с водой, а затем (изображением вниз) приложить и аккуратно снять бумажную основу. Переводными картинками можно было украсить обложку тетради или книги. Очень привлекательными были яркие надувные шары, привязанные к пластмассовым пищалкам. Надуешь через пищалку шарик, оторвёшь от губ, — и он, довольно нудно: иу-иууу-уууу — пищит, уменьшаясь в объёме, и уже на последнем издыхании, напоследок — пшикнет.

Мы буквально висли на руках у мамы, выпрашивая что-либо на обмен, чтобы заполучить заветные переводные картинки, шарики-пищалки и глиняные свистульки. Бывали случаи, когда в отсутствие родителей дети отдавали старьевщику на обмен нужные, совсем нестарые вещи.

Из дошкольного детства запомнились походы за хлебом. Это было примерно в 1953 году. Отменили карточную систему, хотя продуктов, и самого главного — хлеба, в достатке не было. Страна ещё не восстановилась после военной разрухи.

Предрассветные сумерки межсезонья. Точно не помню, весна или осень? Мама, Шурик и я

занимаем очередь в громадной толпе очередников. Очерёдность ведёт громкоголосая женщина под тусклой лампочкой возле магазина. Магазин находится на Красноармейской улице, рядом с продуктовым оптовым магазином и фотоателье. Днём я люблю рассматривать в витрине лучшие фотографии этого заведения, выставленные для рекламы в витрине под стеклом.

Нам велят послушаться ладонь, после чего химическим карандашом крупно пишется порядковый номер. Но такой цифрой нас не испугать, мы полны решимости, как и все эти люди, выстоять и получить заветные буханки хлеба, которых хватит нам на несколько дней.

Одеты мы тепло, по сезону, с расчётом длительного стояния на улице. Я крепко держусь за руку мамы — очень легко потеряться в толпе. Мне всё интересно: ровно гомонящая толпа, её постоянное медленное движение (чтобы не замёрзнуть), переключка номеров, кто не отозвался — выбывает. Часто потерявший таким образом свою очередь ругается или рыдает, или с проклятиями на весь мир уходит домой, чтобы завтра снова прийти и уже не отлучаться ни на минуту.

Вот уже светает. Светлеет небо, делаются невидимыми месяц и звёзды. Видны тёмные, усталые от недосыпа лица очередников за хлебом. Плохо одетые люди в телогрейках и в

пинелях. Женщины в плюшевых жакетах, в шальях, многие с детьми.

Вот всколыхнулась толпа, пробежал негромкий заветный возглас: хлеб привезли! Его привозят на подводе, запряжённой лошадью, в синем деревянном фургоне с белой надписью «Хлеб». Зимой фургон стоит на санях, а летом на телеге с высокими колёсами, с дутыми шинами.

Открывается дверь магазина и толпа медленно, но верно, выстраиваясь в ручеёк, втягивается и тает. Перед входом ещё раз тщательно проверяют написанные на ладонях номера. И вот — заветный миг, ради чего мы так долго стояли в очереди, не доспали и претерпели утренний холод. В магазине полумрак, освещена только середина деревянного выскобленного прилавка. По углам темнота, одинокая голая лампочка не даёт достаточного освещения, да, наверное, и нет в том особой необходимости. Тёплый воздух, настоящий на

хлебном запахе, пьянит, его хочется бесконечно вдыхать и наслаждаться. Женщина-продавец, в белых нарукавниках, в косынке, быстро сосчитав нас глазами, выкладывает полагающиеся нам три буханки «в руки». В то время существовал термин: «в одни руки» и «на одну душу». А на улице уже солнце. И мама отламывает нам по куску тёплого душистого хлеба, вкуснее его нет ничего в нашем детстве.

Я не помню плачущих детей в толпе. Мы с Шуриком, во всяком случае, всегда были терпеливы и не капризны. Правда, мне вспоминаются дни, когда я была не в форме, не могла окончательно проснуться. Тогда, уже в очереди, я могла уснуть стоя, прислонившись спиной к маме. В какой-то момент я придрёмывала, колени подгибались, и я сползала к земле. Мама подхватывала меня под руки, приговаривая: не спи, уже скоро откроется магазин, купим хлеб и пойдём домой спать.

(Продолжение следует)